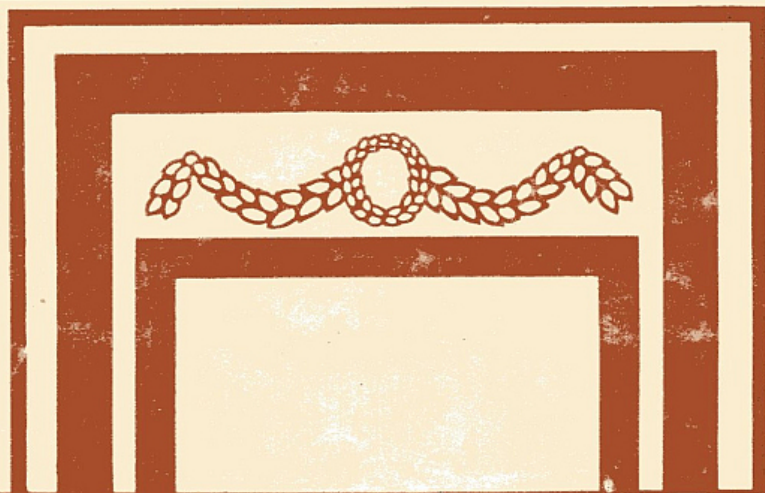


**БИБЛИОТЕКИ
ПЕТЕРБУРГА
ПЕТРОГРАДА
ЛЕНИНГРАДА**



Л. М. РАВИЧ

**БИБЛИОТЕКА П. А. ЕФРЕМОВА
И «ДУРОВСКИЕ СРЕДЫ»**

Никто еще, кажется, не пытался исследовать вопрос о роли в развитии русской культуры чудаков-коллекционеров, часто бескорыстных, подверженных несущественным, с точки зрения здравого смысла, увлечениям и страстям. Между тем роль этих людей в сохранении культурных ценностей бывает очень весомой, особенно во времена нигилистического отношения к прошлому.

Эпохи общественных кризисов, коими так богата наша родина, кроме всего прочего выбрасывают на поверхность пену воинствующего нигилизма, отрицания прежних дел и достижений, стремление «скинуть с корабля современности» все, сделанное «отцами». Пролеткульт послереволюционных лет имеет достаточно разветвленное генеалогическое древо. Одна из могучих ветвей его уходит корнями в эпоху великих реформ середины прошлого века, когда считалось чуть ли не обязательным отрешиваться от дворянской культуры, а Пушкина пытались представить лишь певцом наслаждений. С изумлением читаем мы, все более и более чтящие великого поэта, что он был лишь «поэтом формы», что его зрелые произведения, за исключением «Медного всадника», «имели мало связи с обществом» и потому остались для него «бесплодными» (Чернышевский), что такие шедевры лирики, как «Я вас любил...», — «альбомные побрякушки» (Добролюбов), что Пушкин преимущественно занимался воспеванием женских ножек (Писарев). И это говорили и писали властители дум!

В условиях такого отношения к наследию старой культуры усилия чудаков-библиофилов, спасавших не только от забвения, но и просто истребления старую книгу, документ, факт были очень важны. Ведь не надо забывать, что как раз библиофилы середины прошлого века, имевшие мужество противостоять модному нигилизму, были не только собирателями, но и публикаторами. А сколько насмешек, незаслуженных и непонятных сегодня оскорблений получили они от тех же корифеев журналистики за «мелочность», т. е. за создание того фактологического фундамента, на котором было затем построено здание научной истории литературы!

Кто только ни упражнял свое остроумие на этом сюжете: Добролюбов, Писарев, Антонович, Щедрин... Эту эстафету приняло от них и советское литературоведение, только во много раз усугубив ее и насмешки над «мелочностью» превратив в политические обвинения. Тут уже оказалось, что публикации находок библиофилов выполняли идеологически вредную функцию, «отвлекая внимание читателей от общественной борьбы» («Хрестоматия по русской библиографии»). Вот если бы не библиофилы, — какую общественную борьбу мы имели бы в то время! А так — упустили момент. Долгие годы (десятилетия!) в нашей научной и околонучной литературе слово «библиофил» имело несмылаемо негативный оттенок, а эпитет «библиофильский» был просто бранным. Дело представлялось так, будто «библиофильские тенденции» (тоже один из жупелов) пагубно отразились на развитии русской библиографии второй половины прошлого века и начала нынешнего. Примеры приводить нет надобности: они у всех «на слуху». Библиофильский — значит чуждый, барский, «не наш».

Но вот ведь какая странность: среди библиофилов, сформировавшихся в самый разгар «базаровщины» и принадлежавших к тому же молодому поколению, подавляющее большинство составляли люди передовых, а иной раз и радикальных убеждений: П. А. Ефремов, В. И. Касаткин, Е. И. Якушкин, А. Н. Афанасьев, М. Л. Михайлов. Что все это означает? Не меняет ли этот еще мало исследованный феномен наше представление о молодежи той поры, как преимущественно нигилистической? Ведь вокруг каждого из этих значительных людей (и вокруг них вместе) образовывался, естественно, круг сочувствующих, если не единомышленников, иначе им было бы не выстоять. Наличие этой группы и близких к ней людей сильно меняет весь «расклад»

общественно-культурной жизни середины прошлого столетия, каким он сложился в нашей исторической науке.

Перед нами явление, требующее вдумчивого осмысления, отказа от сложившихся исторических стереотипов, ибо эта группа бескорыстных книжников, сознательно противостоявших всякой писаревщине, внесла весьма существенный вклад в великое дело сохранения культуры. Традиционное российское равнодушие к библиотеке как общественному институту (а тем более к библиотеке личной) помешало и продолжает мешать должной оценке такого явления, как русское библиофильство, во многом существенно отличавшееся от европейского. Кроме того, в данном случае мешает и наше религиозное отношение к высказываниям революционных демократов, какими бы явно неверными они ни виделись сегодня.

Мы со школьной скамьи усвоили словосочетание «революционный демократ», но вряд ли кто-нибудь объяснил вразумительно, каково конкретное наполнение этого понятия. Это что — партия? Нет, ибо этим почетным титулом мы именуем не более десятка людей (а то и менее, тут тоже нет четкого единства мнений). Это что — философия? Тогда как быть с кричащими противоречиями между мировоззрением, скажем, Чернышевского — и Писарева с Зайцевым? Не говоря уже о Герцене. Это эстетика, литературная критика наконец (ведь все они, без исключения, подвизались в критических отделах ведущих журналов — «Современника», «Русского слова», затем обновленных «Отечественных записок»)? Тогда давайте примем их мнения, например видного представителя этой группы Варфоломея Зайцева, в простоте душевной называвшего Лермонтова «разочарованным идиотом» (о мнениях корифеев этой критики о Пушкине мы уже упоминали мельком, а если собрать их воедино, то получится нечто невероятное). И почему к революционным демократам причисляют Некрасова и Салтыкова, и отдаленно никогда никакой революционной деятельностью не занимавшихся (тот факт, что их произведения имели объективно революционизирующее влияние на общество, в данном случае аргументом служить не может: таково было воздействие всего так называемого «критического реализма», и, скажем, «Воскресение» Толстого куда более революционная книга, чем «Господа Головлевы» или «Губернские очерки»).

Так кто такие революционные демократы, и кого персонально мы в конце концов к ним причисляем? Это всем известно, — возразят мне. Не тут-то было! Это как раз один из самых темных и нерешенных вопросов нашей истории

нового времени, да и философии тоже. Имеется привычное словосочетание — и только. Боязнь серьезного анализа, слепое повторение ленинской формулы, объединение в одной идейной группе лиц, ничего общего между собою, кроме прогрессивности, не имеющих, — таково на сегодняшний день положение вещей в этой области. Если бы Чернышевскому, считавшему Герцена «Кавелиным в квадрате»,¹ сказали, что после смерти он будет состоять с ним в одной партии, — то-то бы он обрадовался! Далее: можно ли считать революционными демократами таких вульгаризаторов идей Чернышевского, как Антонович, Ткачев, которые нанесли еще недостаточно учтенный урон отечественной культуре? Вопросов много, ответов нет...

Так традиционно сложилось, что московская молодежь прошлого века (возможно, отчасти в силу облагораживающего влияния профессуры передового Московского университета) была куда менее «экстремистски» настроена по отношению к «отцам», чем петербургская. Здесь никто бы не рискнул пренебрежительно отзываться о великих явлениях отечественной культуры, зная, что получит немедленный и сокрушительный отпор. Здесь в чести была верность «заветным личностям»,² как выражался Огарев, здесь занимались активным сохранением старой культуры, спасением ее от всеконечной гибели, здесь действовали крупные общественные объединения гуманитариев, и в первую очередь — Общество любителей российской словесности (к слову говоря, также постоянно преследуемое весьма передовой «Искрой»). И библиофильство московское имело какой-то свой неповторимый колорит именно благодаря участию (и лидерству) в нем молодых радикалов.

Петр Александрович Ефремов (1830—1907/8) был, как у нас принято выражаться, типичным представителем прогрессивного московского библиофильства, затем в течение многих десятилетий насаждавшим его прекрасные традиции среди книгособрателей Петербурга. Дожив до начала двадцатого века, пережив всех сверстников и друзей молодости, дослужившись до «превосходительного» чина, избранный академиком, он всегда оставался верным себе, никогда не изменял идеалам и идеям, в которых возрос. Человек феноменальной трудоспособности, необычайно удачливый «ловец» книг, он создал библиотеку, не имевшую себе равных в России. Это собрание, с середины 1850-х годов функционировавшее в Петербурге, было открыто для любого исследователя книги, литературы, общественной мысли, так же, как

необыкновенно богатая коллекция иконографических материалов, собиравшаяся Ефремовым всю жизнь и также не имевшая себе равных. А если мы еще вспомним, что хозяином этой библиотеки был виднейший знаток русской литературы, сам представлявший собою некое «справочное бюро» по всем вопросам книжности, то нам станет ясно, что собрание Ефремова и он сам выполняли функцию научной библиотеки в полном смысле этого слова. Известные материалы и те, что покоятся в архивах, могут дать лишь приблизительное представление о круге «абонентов» этой библиотеки.

Мне могут возразить: в столице была Императорская публичная библиотека, разве этого мало? Мало, потому что в ней нельзя было получить многие редкие книги, имевшиеся только у Ефремова, не говоря уже о его богатейшей коллекции запрещенных изданий. На страницах «Искры» в шуточной форме, но верно по существу об этом писал сам Петр Александрович: «Не могу не заметить, что, на мой взгляд, есть три рода книг: 1) такие, которых невозможно иметь в своей библиотеке, как излишний, загромождающий ее хлам, но которые тем не менее иногда могут понадобиться для справок; 2) такие, которые должны быть в каждой порядочной библиотеке и 3) так называемые редкие книги, которых нигде нельзя достать, несмотря ни на какие старания, так что за ними по необходимости надо обращаться в Публичную библиотеку. Но именно выдачею этих-то книг она и стесняется, легко снабжая книгами двух первых отделов, которые без затруднения можно найти в частных библиотеках для чтения, заплатив только гривенник за прочтение. Неужто библиотека и в наше время смотрит на своих читателей как на хищников и книговредителей? Едва ли найдется такой из тысячи один: 999 невинных страдают за одного **подозреваемого**».³

Достаточно проштудировать работу Геннади «Русские книжные редкости», чтобы убедиться в том, скольких ценных изданий, обладанием которыми могли гордиться библиофилы, не было в Публичной библиотеке. Но следует сразу сказать, что, к чести русских собирателей, они старались по мере своих возможностей наполнить лакуны Императорского учреждения. П. А. Ефремов, кроме всего прочего, подарил Публичной библиотеке главное свое сокровище — не вышедшую в свет декабристскую «Звездочку». После уничтожения тиража в мире осталось два экземпляра: один неполный и один полный — ефремовский. Теперь он — в отделе редкой книги ГПБ. Учитывая интерес исследователей

к редкой (в основном — крамольной) русской книге, Ефремов предпринял, преодолевая порою яростное сопротивление цензурных инстанций, переиздание некоторых из них: трагедии Княжнина «Вадим», журналов Новикова «Живописец» и «Трутень», его же «Опыта исторического словаря о Российских писателях» и, наконец, уже вторично сожженного цензурой «Путешествия из Петербурга в Москву» (Ефремов издал двухтомное собрание сочинений Радищева, но из-за «Путешествия» все оно было уничтожено!).

Среди первоклассных редкостей, имевшихся у Ефремова, был и первый русский перевод Корана (Императорская Публичная библиотека имела неполный экземпляр), незаконченное и не поступившее целиком в продажу роскошное издание «Живописная Россия», великолепное собрание периодических изданий восемнадцатого столетия и множество других. В письме к известному провинциальному книговеду С. И. Пономареву Ефремов сообщал: «Вообще редкие книги я собираю все, и много есть у меня известных в 2—3, а иногда и в 1 экземпляре и даже не выходявших из типографии». ⁴ Наше книговедение, с высокомерным пренебрежением относившееся к собирателям редких книг, непостижимым образом забывало, что редкая русская книга — это почти всегда книга трагической судьбы! К упомянутой выше работе Геннади «Русские книжные редкости» приложен, как полагается, и указатель имен авторов редких книг. Вот только некоторые из них: Батюшков, Бестужев (А. А.), Богданович, Гоголь, Грибоедов, Даль, Жуковский, Каржавин, Киреевский, Княжнин, Костомаров, Мятлев, Надеждин, Новиков, Пнин, Радищев, Рылеев, Самарин, Сумароков, Чаадаев... Впечатляющий список! Кто скажет, что это пустые книги, собиравшиеся лишь ради их редкости?

Нечего уж говорить о том, что в библиотеке Ефремова были с исчерпывающей полнотой представлены издания зарубежной русской печати, как герценовские, так и иные — Долгорукова, Гербеля, Бакста и др. Ведь и сам он был корреспондентом «Полярной звезды» и «Исторических сборников Вольной русской типографии». Все это богатство всегда было к услугам собратьев по библиофильству (совершенная неустранимость Ефремова, доходящая до мальчишества, была широко известна). Поэтому понятно, что к нему, а не в Публичную библиотеку, шли те, кому были нужны редкие книги и иконографические материалы.

Коренной москвич, выпускник Московского университета, Петр Александрович Ефремов во второй половине 1850-х го-

дов переводится по службе в Петербург и до конца жизни (с перерывом в несколько лет) живет в нашем городе. Вскоре у него устанавливаются дружеские и деловые связи с миром петербургских книжников. Завоевывая со временем все больший авторитет в столице (и в России в целом), Ефремов во многом способствовал перенесению в здешний круг более демократических и открытых московских нравов и принципиальных установок. В частности, он завел у себя приемы по понедельникам (правда, не столь регулярные, как дуровские среды, о которых речь впереди, но всегда многолюдные и оживленные). Ведь, кроме всего прочего, Ефремов позволял рыться в своих книгах, а если просили, то давал без ограничений и на дом целыми коллекциями. С насмешкой над «кащееми», коих немало было среди библиофилов столицы, он пишет Пономареву: «Венгеров мои папки берет по мере надобности — я в них и в собрании портретов никому не отказываю, и Ровинский дивился моим знакомым, что я без всякой опаски (чего же бояться?) давал ему на дом всю свою очень большую коллекцию портретов без срока и расписки (какая же тут расписка?)». ⁵ Список «абонентов» библиотеки Ефремова можно с полной уверенностью пополнить именами Г. Н. Геннади, Н. П. Дурова, Д. Ф. Кобеко, М. И. Семевского, А. Н. Пыпина, Н. В. Гербеля, В. П. Гаевского, П. П. Пекарского — именами, которые мне доподлинно известны, но это, конечно, лишь случайные сведения, в самом деле их было в десятки раз больше.

Короче говоря, перед нами **общедоступная научная библиотека** с великолепным уникальным подбором изданий, о которой все знают, но о которой, в сущности, ничего не написано. Никто не знает, например, сколько десятков тысяч томов насчитывало это фантастическое собрание. Ефремов (который, к сожалению, каталога не имел) к концу жизни и сам не знал, сколько у него книг. Когда после вторичного переезда в Петербург (он попытался, выйдя в отставку в конце 1890-х гг., снова стать москвичом, но из этого ничего не получилось: той Москвы, которую он знал и любил, уже не было) он нанял квартиру, ему не позволили внести в нее библиотеку, за исключением нескольких шкафов: хозяин боялся, что не выдержат полы. И вот тогда Ефремов узнал из накладной, что остальные книги и гравюры, сложенные в сарай, весят 953 пуда (т. е. более 15 тонн). Весь иконографический материал ему пришлось продать известному антикварию Фельтену, не вынимая из ящиков (имя Ефремова обеспечивало покупщику немалый доход). Книги

же (дело всей жизни) продавать было жаль... Но уже и жизнь шла к концу.

После кончины Ефремова его вдова (женщина малообразованная и бездетная) предложила его собрание (вместе с архивом) недавно организованному Пушкинскому дому за весьма умеренную сумму. Возможно, она не представляла себе истинную цену всего этого; возможно, однако, что такова была воля Петра Александровича. И вот тут начинаются чудеса, о которых пора уже рассказать (насколько позволяют документы). Коротко говоря, Пушкинский дом от этой покупки, мало того, что крайне необходимой молодому научному учреждению, но и просто очень выгодной, отказался. Имеется версия, по которой это произошло из-за отсутствия средств. И только потом, изыскав какие-то деньги (откуда бы?), Пушкинский дом все-таки выкупил у Фельтена, которому вдова продала это собрание, какую-то часть книг, причем гораздо дороже, чем просила Ефремова.

Так эта история излагается всеми; так изложила ее и я в «Собирателях книг» (глава «Долгая жизнь Петра Ефремова»).⁶ Но теперь, обдумав все еще раз и сопоставив кое-какие факты (о которых здесь будет рассказано), я пришла к выводу, что дело обстояло совсем не так. Деньги были, и деньги очень большие, в несколько раз превышающие первоначально назначенную цену за ефремовское собрание, но пошли-то они на совсем другую покупку. Прежде всего поражает, что Б. Л. Модзалевский, от которого все зависело, не потрудился даже ознакомиться с библиотекой Ефремова. Для этого надо было только сесть на извозчика и проехать несколько кварталов. Вместо этого он сел на поезд и поехал в столицу Франции. Там, в Париже, жил некто А. Ф. Отто, называвший себя Онегиным, — владелец небольшого пушкинского музея («музейчика», как он сам его называл). Самые ценные экспонаты достались этому коллекционеру даром: он получил их от друга, сына В. А. Жуковского, который, очевидно, был так же добр, как его отец. Там были, помимо книг, автографы Пушкина, сбереженные боготворившим его Жуковским. Их было немало — более 50. Правда, новых, неизвестных текстов Пушкина там почти не было (5 стихотворений и несколько отрывков, «забракованных» самим поэтом), но все же это был Пушкин, его рука, а для пушкиниста это соображение перевешивает любые другие. Были у «Онегина» и книги, прежде принадлежавшие Жуковскому, подаренные тем же Павлом Васильевичем, и некоторые другие реликвии. Все это он решил продать

именно в то самое время, когда вдова Ефремова предлагала его библиотеку. Модзалевский (а именно от него зависел выбор) как пушкинист предпочел коллекцию Отто. И не просто предпочел. Парижанину была заплачена сумма, по тем временам неслыханная. Он получил 10 тысяч полновесных золотых рублей одновременно и 6 тысяч в виде ежегодной пенсии, притом коллекция оставалась в его владении пожизненно, было только выговорено право для членов Академии наук (буде таковые приедут в Париж) безвозбранно пользоваться ею. Эта сделка была оформлена в апреле 1909 года, но бодрый старичок прожил еще 16 лет. Когда советское правительство перестало выплачивать ему пенсию, он пригрозил, что продаст все в другие руки, — и тогда стал пенсионером уже советской власти. Наконец, в середине 20-х гг. коллекция Отто поступила в Пушкинский дом, но вся ли — об этом нет единства мнений. Деньги в 1909 г., по-видимому, еще оставались (да и возмущение демократической прессы всей этой историей было весьма велико), и вот тогда Пушкинский дом действительно купил у Фельтена по дорогой цене то, что ему приглянулось из ефремовского собрания: прижизненные издания русских писателей, комплекты журналов XVIII века, некоторые редкие книги и т. п. Не были куплены ни знаменитые ефремовские конволюты (кладезь всевозможных сведений), ни его богатейший архив. Большую (в количественном отношении) часть библиотеки Ефремова купил иваново-вознесенский коллекционер и меценат Г. П. Бурылин. Пушкинский дом купил, значит, часть меньшую, а это ни много ни мало 24 тысячи экземпляров. Множество книг и журналов было продано в розницу. Что же это была за библиотека? Даже представить себе трудно. И это сокровище Пушкинский дом упустил со спокойной душой. Конечно, музей Отто надо было купить и вернуть России то, что в нем было. Но с этим вполне можно было повременить, а сначала приобрести библиотеку и архив Ефремова. Если вдова последнего стремилась поскорее избавиться от библиотеки, которая ей только мешала, то Отто-Онегин ни за что не расстался бы со своей коллекцией, а таких условий, которые он выторговал у Пушкинского дома, ему никто вне России не предложил бы. Да и вообще никто не зарился на его «музейчик», и вполне можно было погодить с этим делом. 1909-й год — это не 1990-й. На Западе тогда никто не гонялся за русскими раритетами. Наша культура тогда была живым древом в ряду прочих, а не «осколками разбитого вдребезги» со всеми вытекающими

отсюда последствиями. Никуда бы не делся этот «Онегин», спешить было незачем. Конечно, Пушкинский дом тогда был беден автографами поэта (его рукописи хранились в Румянцевском музее), но все же, все же, все же...

Нельзя не отметить, что пушкиноведческий фетишизм, проявленный в данном случае, нес в себе самом пушкиноведческое же возмездие. Дело в том, что Ефремов был крупнейшим знатоком пушкинских текстов и пять раз редактировал собрания его сочинений, не говоря уже об отдельных изданиях («Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан»). Ему принадлежала работа «Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях», явившаяся итогом многолетних штудий (1903 г.). В собрании Ефремова было, как свидетельствует хорошо информированный В. Я. Адарюков, более 20 объемистых конволютов по Пушкину. Где они теперь, никто не знает. Таким образом были упущены ценнейшие источники и пушкиноведческих сведений. Пушкинский дом не принял во внимание и тот факт, что Ефремов был в переписке с виднейшими пушкинистами своего времени. Одних только писем Вячеслава Евгеньевича Якушкина, автора первого научного описания рукописей Пушкина, было более ста. Хорошо еще, что письма к Ефремову и вообще часть его архива была куплена учеными, в частности Шляпкиным, и затем попала таки в Пушкинский дом. Но в целом можно считать, что собрание Ефремова и его архив погибли для русской культуры, ибо только в совокупности всех имевшихся первоначально материалов это — научная коллекция.

Боюсь, что рассержу пушкинистов, если скажу, что, по моему мнению, Б. Л. Модзалевский (сам — автор описания библиотеки Пушкина) не был настоящим знатоком русской книги как таковой и оценить ее правильно не сумел бы. Об этом свидетельствует и история с библиотекой М. Н. Лонгинова. В 1916 г. дочь этого библиофила княгиня А. М. Козловская предложила Пушкинскому дому **безвозмездно** его богатую библиотеку и музей. Просила она только об одном: перевезти все это в Петроград. Тот же Модзалевский, приехав по ее приглашению в подмосковное имение княгини, где хранилась библиотека, пришел от нее в восторг, да на том дело и кончилось. Конечно, было трудное время, шла война, но надо было приложить максимум усилий для получения такого дара. Этого не было сделано. И только уже в 1920—1921 гг., в условиях разрухи, неизмеримо более тяжелых, чем в 1916-м году, благодаря самоотверженным усилиям молодых сотрудников Пушкинского дома, эта библио-

тека была привезена в наш город и ныне является одной из жемчужин библиотеки ИРЛИ. Точно так же волею случая, уже в наше время, в эту библиотеку попало (посмертно) собрание советского литературоведа В. А. Десницкого, который сумел приобрести ряд изданий из распылившейся части ефремовского собрания. Из них в первую очередь следует назвать комплект курочкинской «Искры», весь испещренный заметками Петра Александровича (ведь он был многолетним сотрудником журнала, а его репутация была такова, что ему поверялись и редакционные тайны). В этом экземпляре, буквально не имеющем цены, восстановлены цензурные купюры, раскрыты псевдонимы, названы адресаты наиболее острых в политическом отношении фельетонов и т. п. Недаром именно по этому экземпляру смог раскрыть подлинную историю «Искры» И. Г. Ямпольский. И такое издание было упущено, им пренебрегли! Что уж говорить о других журналах, не старинных и не уникальных, от которых отказался Пушкинский дом, — они также «обработаны» владельцем, и эти заметки, порою единственные в своем роде, представляют громадную ценность для историка отечественной литературы и общественной мысли. Некоторые современные библиофилы целенаправленно собирают книги и другие издания с экслибрисом Ефремова (а они нет-нет да появляются в продаже, правда, все более и более редко). Они есть в собраниях Н. П. Смирнова-Сокольского, М. С. Лесмана, И. Н. Розанова. Хорошо еще, что изданы описания их библиотек. Смирнов-Сокольский, например, собрал (восстановил) целую ефремовскую коллекцию народных лубочных книг о Ваньке-Кайне. Можно себе представить, скольких усилий это ему стоило! Но все это, конечно, не возмещает трагедии (иначе не назовешь) потери библиотеки П. А. Ефремова. Впрочем, она разделила горькую участь собраний многих выдающихся русских библиофилов — Г. Н. Геннади, М. П. Полуденского, А. Н. Афанасьева, М. Л. Михайлова, Е. И. Якушкина...

Нам мало что известно о библиотеке Н. П. Дурова. Большой любитель и знаток старинных изданий, он завел у себя дома по средам собрания книжников, в которых активнейшее участие принимал и П. А. Ефремов. Эти собрания вошли в историю под названием «дуровских сред», но сведения о них чрезвычайно скудны. Между тем это было чуть ли не первое в России (во всяком случае безусловно первое в Петербурге) объединение тех, кого мы теперь называем

деятелями книги. «Дуровские среды» продолжались около десятилетия — с начала 1870-х годов до смерти хозяина дома в 1879 году, — срок весьма и весьма немалый!

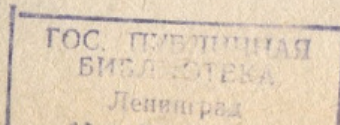
Профессор Института инженеров путей сообщения Николай Павлович Дуров (1834—1879) был колоритнейшей фигурой среди петербургских собирателей. Жил он в обширной казенной квартире при Институте, был владельцем превосходной, хоть и не очень большой библиотеки. Как сообщает Геннади в своих «Русских книжных редкостях», у Дурова были такие первоклассные вещи, как первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву», 39-й том «Российского феатра» с трагедией Княжнина «Вадим» (в подавляющем большинстве экземпляров она была вырезана по повелению Екатерины II), издание писем Петра Великого, «Пригожая повариха» Чулкова, «Кум Матвей, или Превратности человеческого ума», знаменитый «Словарь иностранных слов» Кирилова, уничтоженный цензурой уже в середине XIX века, и множество других раритетов. Имея просторную квартиру, Дуров книги свои пристроил так, чтобы никто посторонний не мог к ним даже приблизиться (это был не Ефремов!). Вот как была устроена его библиотека: «Свои книги, — писал А. Петров, — он держал на антресоли над столовой, куда допускались лишь немногие избранные. Вход в эту книжную хранилищу был устроен из передней, причем на антресоли приходилось взбираться по узенькой деревянной лестнице. Высота антресоли была, по свидетельству очевидца Березина-Ширяева, в средний рост человека, а площадь в две квадратных сажени. Свет в это помещение проникал через единственное небольшое отверстие из столовой, так что и днем здесь было темно. Всюду и везде были книги без строгого порядка. Кроме этого Дуров для книг устроил еще галерею вдоль стен кабинета в виде балкона с перилами и на стойках. Вход на галерею был из антресоли через пробитое в стене пространство, шириною свыше аршина и вышиною около 2½ аршин».⁷

Не следует, однако, думать, что хозяин этой столь необычно устроенной библиотеки был какой-то библиоман, собиравший книги без смысла и цели, только из-за одной их редкости. Оказывается, он их тщательно изучал и прекрасно знал. Он был к тому же автором целого ряда весьма содержательных библиографических трудов. Они остались неопубликованными и сохранились в личном архиве другого книжника — Н. П. Собко — в виде многочисленных картотек. Эти картотеки находятся в рукописном отделе ГПБ, но, к сожа-

лению, остаются неизвестными историкам отечественной библиографии. А ведь это — библиографические труды, составленные крупным знатоком русской книги (с одной стороны) и ученым математиком, владеющим научным методом (с другой), — счастливое сочетание, дающее, как правило, превосходные результаты. Картотеки эти составлены преимущественно (если не полностью) по материалам дуровского книжного собрания и могут, кроме всего прочего, служить путеводителем по его библиотеке (исчезнувшей после смерти владельца).

Тематика библиографических работ Дурова может быть кратко охарактеризована одним словом — «Rossica». Проблема изучения России, в том числе и методами библиографии, занимала в то время многих. Библиографические работы такого плана мы встретим и у Геннади, и у Полуденского, и у Якушкина (не говоря уже о менее крупных работниках). М. Д. Хмыров выдвигал даже идею создания средствами библиографии энциклопедии отечествоведения, так что труды Дурова, ныне забытые, но в его время без сомнения известные его коллегам по библиофильству, создавались в русле всеобщего интереса к России — ее истории, этнографии, производительным силам, обычному народному праву и т. п.

Одна из картотек Дурова, попавшая в личный фонд В. В. Стасова (возможно, позаимствовавшего ее из фонда Собко), посвящена общим вопросам родиноведения. Это — «Книги о России по различным вопросам (XVIII—XIX вв.)», «Биографии русских людей, лиц, писавших о России и вообще упоминаемых в русской истории» и «Мемуары русских людей — записки, дневники, воспоминания». Они и теперь были бы с интересом приняты исследователями, несмотря на наличие позднейших пособий, которые не полностью перекрывают разыскания Дурова. В том же фонде Собко лежит указатель Дурова «Русские периодические сочинения за XVIII и XIX вв.», уже устаревший, но любопытный для сравнения с аналогичными указателями других библиографов. Очень интересны его указатели «Материалы для русской истории. Сказания иностранцев о России» и «Источники древнерусской истории. Летописи, акты и проч.». Общий для всех книжников середины прошлого века интерес к этнографии вызвал появление указателя Дурова «Материалы для истории русского народа. Народности, входившие в состав русского государства. Сословия русского народа. Звания — духовное, военное, гражданское». Кроме этих указателей



общего характера Дуров составил еще более ценные библиографические труды отраслевой тематики: по промышленности, путям сообщения, сельскому хозяйству, медицине и гигиене, географии и путешествиям по России, просвещению и искусству. Всего в рукописном отделе Публичной библиотеки хранится пятнадцать работ Дурова, которые могли бы с полным правом поставить его в ряд видных отечественных библиографов. Но они остались неизданными, а после смерти автора достались людям, вовсе не озабоченным их судьбой.

На «дуровских средах» (на которых, к слову сказать, часто председательствовал блестяще владевший речью Г. Н. Геннади) были заседания как серьезные, так и шуточные. На первых обсуждались работы сотоварищей, новости и проблемы книжного дела, зачитывались письма провинциальных библиографов. Возможно, что дальнейшие разыскания историков библиографии в петербургских архивах дадут нам возможность ознакомиться с протоколами этих «сред» (ведь кто-то же их в той или иной форме вел). Беда лишь в том, что неизвестно, в чьем личном фонде их искать. Если уж библиографические работы Дурова попали в фонд Собко, то трудно даже себе представить, где искать следы дуровских сред. Несколько больше известно о шуточных заседаниях этого сообщества. Во всяком случае до нас дошли две читавшиеся там вещи. Это — великолепная пародия Ефремова на псевдоисторические драмы под названием: «Старец Пафнутий. Трагедия в пяти действиях, с асамблеею и танцами, с пытками, казнями, военными эволюциями, большим сражением, конным ристанием, падением стен, пожаром и разрушением целой области». Эта пьеса перепечатана в сборнике «Русская театральная пародия» (М., 1976) и выделяется даже на фоне представленных в нем блистательных сочинений. Традиционно считается, что «Старец Пафнутий» — пародия на драму Писемского «Поручик Гладкой». Это, конечно, не исключено, но хочу отметить, что адресат ее куда шире. Дело в том, что все дикое несообразности, которыми уснащена речь персонажей этой «трагедии», взяты из статьи А. Н. Афанасьева «Сказание о том, как издаются у нас исторические памятники», опубликованной в «Библиографических записках» и хорошо известной той аудитории, в которой читалась пародия. К сожалению, современные комментаторы этого не знают, а ведь в этом — вся «соль» пародии. Можно себе представить реакцию книжников, читавших статью Афанасьева (а последний брал при-

меры из вполне серьезных изданий, что еще усугубляло юмор ситуации). Напомню также, что почти все библиофилы того времени были причастны к издательским делам; все это их живо занимало. Так что «Поручик Гладкой» мог быть лишь предлогом, а адресатом пародии были научные общества, без достаточной подготовки бравшиеся за издание древних памятников. На «дуровских средах» Г. Н. Геннади прочел также пародийный доклад «Женщины и книги».⁸ Здесь выступали Д. А. Ровинский, Я. Ф. Березин-Ширяев (также баловавшиеся сочинительством), М. И. Семевский, Д. Ф. Кобеко — цвет петербургского книжного мира.

У этих людей была незыблемая традиция взаимовыручки, обмена и дарения книг. Со смертью Дурова прекратились эти «среды», но завязавшиеся на них приятельские отношения, как правило, продолжались и далее. Собрания у Н. П. Дурова — прообраз позднейших библиотечных и библиографических обществ — без сомнения способствовали консолидации культурных сил Петербурга.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Выражение Чернышевского в письме к Некрасову после посещения Герцена в Лондоне. Больше ничего он в нем не увидел! Видный деятель крестьянской реформы К. Д. Кавелин все же никак не может быть поставлен на одну доску с создателем «Колокола»!

² См. его предисловие к сборнику «Русская потаенная литература» (Огарев Н. П. Избр. произведения в двух томах. — М., 1956. — Т. 2. — С. 480). Сопратник Герцена с большим уважением отзывается о библиофилах, противопоставляя их, хранителей культуры, нигилистам. То, что было ясно Герцену и его друзьям, мы теперь должны открывать заново!

³ Искра. 1863. № 19.

⁴ Письма... к библиографу С. И. Пономареву. — М., 1915. Перепечатано в кн.: Собиратели книг в России. — М., 1988. — С. 126.

⁵ Там же. — С. 126.

⁶ Равич Л. М. Собиратели книг в России. — М.: Книга, 1988. — С. 103.

⁷ Цит. по: Куфаев М. Н. Библиофилия и библиомания. — М., 1980. — С. 43—44.

⁸ Сохранился в архиве Геннади (ГПБ). Опубликовано мной в сборнике «Собиратели книг в России» (М., 1988. — С. 216—218).